

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Г. О. ВИНОКУР

ЭПИЗОД ИДЕЙНОЙ БОРЬБЫ В ЗАПАДНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ¹

В течение 1944 г. на страницах журнала «Language» — органа Американского лингвистического общества — появились две взаимно полемизирующие статьи, принадлежащие двум крупнейшим представителям современной лингвистической мысли на Западе — американскому германисту и специалисту по американским языкам Леонарду Блумфилду и немецкому романисту Лео Шпицеру — и посвященные обсуждению основных принципов не только самой по себе лингвистической науки, но и общих философских основ современного научного мировоззрения. Знакомство с позицией обоих ученых, с содержанием и самой формой их полемики, несомненно, представляет большой интерес и для советских ученых. Поэтому я и решаюсь кратко изложить на этих страницах содержание упомянутых статей и предложить небольшой собственный комментарий к этой любопытной полемике.

Напомню, что оба названные ученые принадлежат к диаметрально противоположным школам в современной западной лингвистике, расходясь между собой не только по кругу научных интересов, по научной традиции, в которой они воспитались, но и по общему складу своего научного мировоззрения. Кратко разницу их позиций можно охарактеризовать как разницу между воззрениями современного американизированного позитивизма с четким механико-материалистическим уклоном и воззрениями прямолинейного идеализма с уклоном в субъективизм. Традиции, к которым, если и не прямо, то в конечном итоге, восходит методология Блумфилда, — это своеобразное американское преломление поздних отзвуков младограмматического направления, от которого эта методология, однако, заметно отличается сознательной и последовательной механистической концепцией. Что касается Шпицера, то хотя он в юности прошел основательную младограмматическую школу в области романистики, в более зрелые годы он примкнул к направлениям, резко полемизировавшим с младограмматиками, а именно — к школе Шухардта, с одной стороны, и к школе Фосслера — с другой. От Шухардта Шпицер заимствовал особый стиль этимологических разысканий, отрицающих понятие звукового закона и сближающих возводимый к общему корню языковой материал преимущественно по мотивам культурно-историческим и психологическим. У Фосслера Шпицер перенял взгляд на язык как явление творчески-эсте-

¹ От редакции. Впервые публикуемая статья покойного советского лингвиста профессора Московского государственного университета Г. О. Винокура посвящена полемике между одним из родоначальников американской дескриптивной лингвистики — Л. Блумфилдом и известным представителем так называемого «менталистского» направления — Л. Шпицером. Статья дает характеристику концепции этих ученых и их критическую оценку. Написанная Г. О. Винокуром около 10 лет назад статья сохраняет свое значение до настоящего времени. Анализ взглядов Блумфилда в статье Г. О. Винокура представляет особый интерес в связи с дискуссией о структуральной лингвистике, которая происходит на страницах нашего журнала.

тическое и связанный с этим интерес к проблемам стилистики, методами которой он пытается решать не только грамматические и лексические вопросы, но также фонетические и чисто этимологические, в соответствии с убеждением, что в жизни языка примат принадлежит творческому почину индивидуальности. Сейчас Шнипер живет в Америке, куда он эмигрировал после установления фашистского режима в Германии.

В № 2 (апрель—июнь) 1944 г. журнала «Language» напечатана статья Л. Блумфилда под названием «Secondary and tertiary responses to language», что можно перевести «Вторичные и третичные реакции на язык». В виде подзаголовка статья снабжена аннотацией, которая гласит: «Обсуждение обычных популярных высказываний о языке и некоторых характерных реакций, возникающих, когда эти реакции оспариваются». Заглавие этой статьи, как и вся обширная первая ее часть, представляющая самостоятельный интерес по собранному в ней материалу, вовсе не предвещают ее острого полемического содержания и не дают предвидеть, что и она в свою очередь послужит предлогом для столь же резкой полемической отповеди.

Блумфилд поднимает в этой статье очень любопытный, хотя для самой лингвистики и не очень существенный вопрос о том, как переживаются факты языка в рефлектирующей психологии профана. Вообще всякие высказывания о языке он называет вторичными на него реакциями. Сюда он относит и научные работы по языкознанию. Но его в данном случае интересуют реакции не ученого-лингвиста, а именно профана. Он видит в этих реакциях своеобразную систему, в том смысле, что известные привычные, конвенциональные, как он говорит, представления о языке повторяются неизменным образом, хотя и под разной наружностью, складываясь в особую стойкую традицию. Профан при этом имеется в виду интеллигентный, принадлежащий к культурному общественному слою. Блумфилд иллюстрирует эти «вторичные реакции на язык» красочным букетом мастерски подобранных примеров, аналогичные которым, несомненно, припомнит из собственного опыта всякий лингвист. Ряд примеров относится к тем представлениям, которые имеются у профана в области взаимоотношений между литературным, нормализованным языком и диалектами или же вообще живой речью. Диалектные формы, отклоняющиеся от форм стандартного диалекта, говорят Блумфилд, определяются как испорченные стандартные, как «ошибки», формы «неграмотные». Известные формы теоретически, по примитивным «логическим» соображениям, предписываются стандартному диалекту, как, например, употребление связок *shall* и *will* в формах будущего времени, с различием по лицам, какового различия живая речь даже культурного слоя вовсе не знает. «Когда замечаешь,— продолжает Блумфилд,— что носители стандартного диалекта не употребляют этих предписываемых форм или употребляют другие, то эти отклонения снова клеймятся как „ошибки“ или приписываются „употреблению“, понимаемому как нечто, что нарушает более законные критерии речи».

Другие примеры касаются популярных высказываний в области истории языка. Так, в «New York Times» (26 XI 1939) была помещена заметка под заглавием «Рыбаки говорят на среднеанглийском языке», в которой сообщается, что в одной из отдаленных местностей Англии можно услышать слова и фразы, настолько похожие на английский язык эпохи королевы Елизаветы, что филологи и историки могут установить определенную связь между данным диалектом и языком Елизаветинской эпохи. В качестве смутного отклика на слышанное о родстве языков можно услышать заявление о том, что финны (суоми) и мадьяры, или бенгальцы и литовцы, или баски и малайцы «без труда понимают друг друга». Обычно утвержде-

ние о том, что те или иные дикие племена имеют в своем языке не более нескольких сот слов и т. д.

Далее следуют примеры из области популярных представлений об отношении письма к языку. Блумфилд подробно, цитируя газетные документы, рассказывает о почти анекдотическом, по-диккенсовски звучащем движении, которое возникло в 1941 г. в штате Оклахома в пользу введения в школьное преподавание syllabic алфавита, изобретенного в 1821 г. черокезом Секвойей для своего родного языка. Изучение этого алфавита, постоянно отождествляемое с изучением черокезского языка, пропагандировалось, между прочим, потому, что этот алфавит «содержит буквы для каждого и любого звука, который может быть издан человеческим голосом» и что его можно заучить в три дня со всеми его 85 знаками, тогда как английский язык требует для своего изучения нескольких лет, а наконец, также и потому, что этим алфавитом (или языком *cherokee*?) можно сбить с толку военного врага — немцев.

Блумфилд приводит далее образцы любительских этимологий вроде, например, происхождения немецкого слова *Reich* «государство» от *reichen* «достигать», так что слово *Frankreich* должно было означать область, достигнутую франками, а уже потом (!) от этого слова образовалось новое слово *France* и пр.

Заканчивает свою серию примеров Блумфилд попыткой психологического портрета носителя такой системы «вторичных реакций» на язык. «Говорящий, осуществляющий вторичную реакцию, — пишет Блумфилд, — обнаруживает живость. Его глаза широко раскрыты, и он явно доставляет себе удовольствие. Как бы близко его мнение ни стояло к традиции, он предлагает его как нечто новое, часто как свое собственное наблюдение или наблюдение своего знакомого, и оно ему кажется интересным. Если он знает, что говорит с профессионалом-языковедом, он прежде всего говорит о своем невежестве и скромно признается в том, что плохо владеет своим языком, но вслед за тем воспроизводит традиционное учение уже вполне авторитетным тоном. В общем весь процесс совершается, как мы выражаемся, с удовольствием».

Как должен вести себя в подобных случаях лингвист — другой вопрос, продолжает Блумфилд. Но если он, следуя естественному импульсу, пытается просветить говорящего, он наталкивается на «третичную реакцию» на язык, что возникает почти неизбежно, когда традиционная вторичная реакция оспаривается. При этом третичная реакция всегда враждебна. Говорящий усваивает презрительный тон и становится сердитым. Он с нетерпением подтверждает вторичную реакцию. При этом почти всегда объяснения лингвиста объявляются оригинальничанием, склонностью к парадоксам. Если становится известным, что ученый, с которым ведется беседа, лично занимался обсуждаемым вопросом, то это несколько не меняет дела. Следует рассказ о враче, очень образованном и воспитанном человеке, который, охотясь в области языка *chirrewa*, за столом у Блумфилда стал ему рассказывать, что в языке *chirrewa* всего лишь несколько сот слов. На вопрос, откуда он это знает, он сослался на своего проводника-туземца. Когда Блумфилд стал ему разъяснять действительное положение вещей, гость-врач быстро и со знаками неудовольствия повторил свои сведения и «повернулся спиной» к Блумфилду. Третье лицо, заметив эту невежливость, объяснило ему, что Блумфилд обладает некоторым опытом в изучении данного языка. Но это не имело никакого действия.

Далее Блумфилд указывает, что объяснение истинных отношений живой речи к стандарту воспринимается всегда как защита «порчи языка». Следуют возгласы вроде: «Неужели же вы думаете, что я стану говорить:

I seen it или *I done it?*) (т. е. вместо *I have seen it* или *I have done it*). В особенности лингвистические разъяснения отношений между языком и письмом кажутся столь противоречащими очевидности, что они воспринимаются исключительно как извращенное нежелание считаться с фактами. Следует ряд примеров, из которых один заимствуется у Есперсена. В своей известной книге «Grundfragen der Phonetik» Есперсен рассказывает, что один русский ученый, увидев в элементарном руководстве по русскому языку для американцев фонетически записанные слова вроде *trǐpka*, *sat*, *bǔdʒit*, стал ссылаться в своих жалобах «на письменный и разговорный язык Тургенева, Толстого и Чехова» и на тот факт, что «один из его школьных друзей стал впоследствии известным поэтом».

Нельзя отказать всему изложенному в занимательности. Популярная психология языка, «лингвистический фольклор», как называет ее Шпицер в своем ответе Блумфилду, действительно может стать предметом особых наблюдений и изучений. Однако последующая часть статьи Блумфилда показывает, что весь этот невинный с виду разговор о вторичных и третичных реакциях на язык представляет собой всего лишь полемический прием, цель которого — поставить в положение профанов, способных лишь на «третичные реакции», тех ученых, которые оспаривают возглавляемое Блумфилдом научное направление.

Вот как переходит Блумфилд к действительному предмету своей статьи. Третичные реакции, говорит он, возникают обычно только тогда, когда говорящий наталкивается на опровержение своих вторичных реакций. Но, продолжает Блумфилд в более высоком и полуученом плане, третичные реакции возникают в носителе языка и просто при знакомстве с лингвистическими заявлениями, когда он достаточно проникновенен для того, чтобы увидеть, что эти заявления противоречат его привычным вторичным реакциям. Следуют две выписки из дилетантских сочинений, в которых содержатся насмешки над «гробкопателями», превратившими изучение классических языков и литератур в нудное и скучное занятие по разыскиванию корней слов, в разного рода «морфологии» и т. п. А затем, закончив свою своеобразную «артиллерийскую подготовку», Блумфилд переходит к прямому штурму на врага, т. е. к описанию третичных реакций со стороны инакомыслящих лингвистов.

«Получилось так, — пишет Блумфилд, — что в области лингвистики я являюсь одним из работников, которые думают, что анимистическая и телеологическая терминология вроде *mind* (разум), *consciousness* (сознание), *concept* (понятие) и т. д. не приносит пользы, наоборот, приносит много вреда лингвистике, как и всякой другой науке. При таком положении приходится встречать, в более высоком и специальном плане, конечно, реакции того же самого типа, как популярные реакции, описанные до сих пор. Я не имею здесь в виду разумные дискуссии о научном методе или о специальных постулатах и методах лингвистики. Этого в действительности бывает очень мало. Анимистическая терминология так глубоко укоренилась в нашей культуре, что ее применение кажется чем-то самоочевидным. ...Во всяком случае, исследователь, который ставит себе задачей искоренение менталистской терминологии из своей работы, встречается с реакциями, напоминающими популярные реакции на лингвистическую науку вообще».

Надо заметить, что уже и выше, в одном из примечаний к тексту статьи, Блумфилд дает читателю понять, что надо понимать под его «антиментализмом» или «механизмом» в науке. Так, когда он говорит, что процесс вторичной реакции доставляет реагирующему удовольствие, Блумфилд замечает в списке: «Неопределенные популярные термины, как *удовольствие* или *гнев*, употребляются здесь только потому, что у нас не хватает

(или мне лично не хватает) сведений из физиологии и социологии, чтобы определить их заново. Точно так же я употребляю термин *механист* или *антименталист*: в обществе, в котором почти каждый был бы уверен, что луна сделана из зеленого сыра, исследователь, составляющий морской альманах без упоминания сыра, был бы назван каким-нибудь термином, вроде *антисыррист* (*noncheesist*)».

Речь, следовательно, идет о таком направлении научной мысли, которое отрицает возможность говорить о явлениях сознания, умственной жизни, о душевных явлениях до тех пор, пока они не представлены в анализе как совокупности некоторых биологических и, как прибавляет Блумфилд, социологических (разумеется, это социология тоже биологическая) факторов. Продолжая свои жалобы на ученых, не понимающих его антиментализма и оказывающихся, по его мнению, в роли третично реагирующего на положения лингвистики, Блумфилд в особенности подчеркивает, что отказ антименталистов говорить о таких предметах, как *понятие, значение, душа* и т. п., толкуется враждебным лагерем как отказ исследовать самые явления, стоящие за этой, как он ее называет, анимистической терминологией. Между тем, уверяет Блумфилд, такие толкования несправедливы. Антименталисты вовсе не отрицают самого наличия соответствующих явлений, но, по их мнению, задача заключается в том, чтобы перевести все эти «ментальные» явления в биолого-социологический план. Вместе с тем Блумфилд в особенности вооружается против тех, кто разумную дискуссию по этим вопросам заменяет «более непосредственно социологически обусловленными реакциями». Так, обычно антименталистов обвиняют в невежестве. Они объявляются людьми, повторяющими ошибки ранних философов-материалистов. К их груди, говорит Блумфилд, приставляется бутафорский пистолет солипсизма: в конце-концов антименталист может работать только при помощи собственного сознания, но оно оказывается гораздо ниже сознания великих философов прошлого. Антименталист берется за решение сложных вопросов грубо, жестко, как невежда. Он циничен и лишен способности чувствовать, он не умеет «объяснять» тонкие аспекты человеческой культуры и ее достижений. В качестве примера подобных инвектив против антименталистов Блумфилд и приводит обширную выдержку из статьи Шпицера, появившейся в 1943 г. под заглавием «Почему языки изменяются».

В этой статье Шпицер противопоставляет свой эстетико-психологический метод антименталистическому методу американских лингвистов, выдвигая против них следующие положения:

1. Антименталисты боятся оперировать «неизвестным» — тем, что не проследжено в деталях, и потому предпочитают вовсе не принимать во внимание это «неизвестное». Но раз, по крайней мере, известно, что это «неизвестное» все же существует, то игнорирование его — грех против того, что известно.

2. Антименталисты не хотят видеть, что ученый, исследующий язык, одновременно является и просто человеком, воспринимающим и чувствующим, как и все другие. Они резко разобщают лингвиста как исследователя и лингвиста как особь, имеющую право на «неофициальные частные вкусы». Этим антименталисты капитулируют перед современной умственной дезинтеграцией, перед духовным распадом, в котором Шпицер обвиняет современную западную культуру.

3. Антименталисты не замечают, что их отрицание философии, которую они характеризуют как «окаменелость» в системе современной культуры, как средневековый пережиток, само по себе есть известная философская позиция и что их лингвистические исследования, основанные на антифилософской философии, неизбежно опираются на своеобразный ментализм.

4. Когда антименталисты говорят, что языковые факты не могут объясняться психологическими процессами, так как единственными свидетельствами этих процессов служат сами же объясняемые языковые факты, то они не понимают того, что выражено в известном афоризме Гёте: «Самое высшее — понять, что все фактическое есть уже теория». Шпицер предлагает антименталистам доказать, что такие понятия, как «праороманский язык», «германские языки», не предполагают никакой теории, а между тем они этими понятиями охотно пользуются. «Они принимают, — горячо говорит Шпицер, — результат чужих размышлений, окаменелый плод их, отвергая живое древо самого размышления; они хотят жить мертвыми результатами прошлого, но не в живом настоящем. И эта школа хочет быть школой будущего?»

Не останавливаясь более подробно на частностях этого выступления Шпицера — выступления, содержащего, между прочим, защиту стилистики как равноправной, по меньшей мере, дисциплины в кругу прочих лингвистических дисциплин, ограничусь приведенными наиболее существенными положениями цитируемой Блумфилдом статьи в той ее части, в которой осуждается антиментализм. Но мы еще встретимся со Шпицером — борцом против антиментализма — несколько ниже.

После этой пространной цитаты из Шпицера Блумфилд прямо переходит к заключению. Этой цитатой он хочет доказать, что возражения Шпицера против антиментализма отличаются тем же «сердитым тоном», той же нерассуждающей злобностью, которая подменяет собой убедительность, что и обычные «третичные реакции». По словам Блумфилда, с самого же начала, символизируемого именем Галилея, современную науку обвиняли в цинизме и нечестивости. «Наши деды, — говорит Блумфилд, — выдержали эту борьбу в области геологии и биологии. Интересная черта культуры состоит в том, что научные работники областей, из которых анимизм и телеология изгнаны, требуют употребления таких понятий в менее развитых областях науки, как наша». Указывая на практическую беспомощность современных социальных наук, лишенных дара предвидения и умения решать социальные проблемы, Блумфилд далее пишет:

«Единственное исключение в этой области заключается в том, что мы относительно хорошо знаем строй и историю языков. Это отрасль знания, которая, вопреки предрасположениям и ожиданиям ее основателей, стала обходиться без анимистических и телеологических факторов. Хотя это положение и не дает нам полной уверенности, оно делает все же очень правдоподобным более широкое распространение методов, которые успешно заменили собой прежние безуспешные. Человечество всегда находило такие шаги трудными и сопротивлялось им не только по инерции. Обскурантизм, ярко выраженный авангард такого сопротивления, никогда не прибегал к рациональной аргументации, но только к инвективам и, от Галилея до наших дней, ко всевозможным видам иррациональных санкций». Этими словами статья Блумфилда заканчивается.

Легко себе представить, как должно было задеть обвинение в обскурантизме пылкого идеалиста Шпицера. Он отвечает на это обвинение специальной статьей (см. «Language», 1944, № 4). Статья эта, названная «Ответ г-ну Блумфилду», написана с обычным для Шпицера литературным блеском. Шпицер начинает с благодарности по адресу своего антагониста за то, что тот дал возможность ознакомиться с его аргументацией читателям журнала «Language» (этот журнал Шпицер обвиняет в пристрастии к антименталистам). Шпицер, однако, констатирует, что Блумфилд так и не дал ответа на два основных вопроса, которые были подняты Шпицером: 1) как может антименталист Блумфилд пользоваться такими основными для современной лингвистики понятиями, как, например, «индо-

европейский праязык» или «вульгарная латынь» и т. п., которые имеют несомненное менталистское и даже спекулятивное происхождение; 2) почему стилистические исследования, вроде тех, которыми занимается Шпицер, нужно считать делом более дерзновенным, чем реконструкция романского праязыка.

Блумфилд уверяет, что он не отрицает реальности явлений, именуемых менталистскими терминами. Более того, он убежден, что своим методом он опишет эти явления лучше, чем это делают менталисты. По этому поводу Шпицер иронизирует: «Я бы очень хотел дожждаться, например, лучшего, чем до сих пор, описания какого-нибудь поэтического стиля кем-либо из антименталистов. Но я вообще не нахожу на страницах «*Language*» каких-либо стилистических исследований, и, таким образом, этот журнал, вопреки своему заглавию, не покрывает всей области лингвистики... Откровенно говоря, я вообще не вижу, каким образом антименталист может писать по вопросам стилистики». Поэт не ждет, продолжает Шпицер, пока биология и социология дадут новые определения тому, что в языке названо словом *душа*, и рассчитывает на то влияние, которое его язык оказывает на души его современников. Блумфилд не отрицает, что то, что мы называем душой, входит в предмет биологии и социологии, но откладывает пользование этим предметом до тех пор, пока данные науки не дадут ему своего определения. Может быть, допускает Шпицер, *душа* и мифологема, но не более, чем то, что было когда-то названо словом *дождь*, которым люди для разных практических нужд стали пользоваться задолго до того, как это явление, называемое нами *дождем*, было проанализировано наукой. Таким образом, антименталист ведет себя, как такой примитивный человек, который не стал бы пользоваться дождем для орошения своих полей в ожидании того дня, пока он не проанализирует «понятие дождя». Иными словами, заключает Шпицер, антименталист игнорирует тот человеческий опыт, который аккумулирован человечеством в своем языке. Антименталист, продолжает Шпицер, извиняется, что принужден пользоваться таким неопределенным термином, как *гнев*, *злоба* (*anger*), биолого-социологическая замена которого ему еще неизвестна. Но мы не можем ждать, пока ученый типа Блумфилда займется влиянием злобы на язык — это влияние есть реальность: примем во внимание хотя бы стиль (даже один фонетический стиль) речей Гитлера!

Шпицер имеет в виду здесь то соображение, что всякое слово языка обозначает нечто, познанное человеком в действительности, т. е. различенное им среди прочего и остающееся живой и цельной реальностью, независимо от успешности анализа данного явления. Более того, такое название, продолжает Шпицер, всегда дает больше анализа, так как последний разрушает цельность соответствующего явления, а еще Платон знал, что целое содержит больше, чем простая сумма слагаемых. В этом, говорит Шпицер, — творческая сила языка, который, синтезируя опыт, идет в данном отношении впереди науки. Поэтому, отказываясь от помощи языка, антименталисты лишают себя творческих возможностей в научном исследовании. В качестве примера Шпицер ссылается на одно ученое заседание, в котором участники никак не могли дать единодушного определения французской революции. Значит ли это, что французской революции вообще не было? В результате антименталисты предпочитают работать в областях, в которых механическая сторона дела преобладает, т. е. в области фонетики и морфологии. «Фонологическая мода, — добавляет при этом Шпицер, — никого не обманывает». Существует взаимное притяжение между научными областями и личностями ученых: механист предпочитает иметь дело с механическим. Поэтому и преобладание антименталистских статей в «*Language*» — не случайность, а результат умерщвляющего

действия механической идеологии на исследователей. В самом деле, не станет же автор с капиталистическими воззрениями посылать свои статьи в «Daily Worker».

И разве это действительно так, продолжает Шпицер, что механисты описали хоть что-нибудь в языке лучше своих предшественников? Пусть мне назовут, восклицает Шпицер, хоть один языковой факт, открытый или лучше прежнего описанный с помощью биолого-социологических знаний. Блумфилд верит, будто чистая наука, освобожденная от анимизма, дала человеку власть над природой, в то время как сохранение анимистических предрассудков в социальных науках делает их беспомощными. Но никакая чистая, не-менталистская наука пока не спасает человечество от наводнений Миссисипи или взрывов в шахтах, как не спасла и от взрыва гитлеризма. И это, сентенциозно добавляет Шпицер, — не от недостатка знаний, а от того, что наша воля и наше воображение отстают от знаний. От того, что человеческая душа будет сведена к биолого-социологическим факторам, человечество мало выиграет. Наоборот, это лишь способно подорвать веру человека в самого себя и вызвать катастрофы, еще невиданные. Отсутствие в человеке веры в себя уже вызвало гитлеровскую катастрофу, которая, по мнению Шпицера, была бы невозможна, если бы Гитлер не строил своих расчетов на том, что есть в человеческой натуре автоматического, «бихевиористского», в конце концов — животного, обезьяньего и поддающегося укрощению.

Шпицер решительно отвергает право Блумфилда сравнивать себя с Галилеем и обвинять в обскурантизме тех, кто с ним не согласен. Где, в самом деле, те открытия антименталистов, которые можно было бы сопоставлять с деяниями Галилея? Вообще у Шпицера такое впечатление, что антименталисты преимущественно занимаются защитой своей программы и опорочиванием чужих достижений. Параллель Блумфилда неверна еще и потому, говорит Шпицер, что Галилей был верующий человек и полагал, что истина, открываемая математикой, есть часть божественной мудрости. И другие великие математики и исследователи природы, как Декарт, Паскаль, Мальбранш, Лейбниц, Ньютон, были верующими людьми, т. е. менталистами, включая нынешнего Эйштейна. «Я один из тех обскурантов, — заключает Шпицер, — которые веруют вместе с блаженным Августином: не ходи наружу, в глубине души живет истина». Шпицер призывает к возрождению науки на почве единения с религией, с верой, которая, как он думает, есть основание всякой науки и цивилизованной жизни вообще.

*

Как видим, полемика под конец принимает уже вовсе не лингвистический характер и превращается в спор по вопросам общего мировоззрения. Однако было бы неправильно думать, будто участники спора или один только Шпицер отклонились от своего предмета. На самом деле полемика Блумфилда и Шпицера очень хорошо показывает, что всякая научная проблема, а тем более проблема научной методологии, в конце концов непременно приводит к общим мировоззрительным вопросам. И можно быть только благодарным обоим выдающимся представителям современной западной лингвистики за то, что они с такой откровенностью, так серьезно, с такой глубиной чувства развернули каждый свое кредо. Со своей стороны, считаю возможным к изложению их полемики вкратце присоединить следующее.

Нетрудно прежде всего понять, что каждый из двух участников спора очень далек от таких воззрений на лингвистику, на науку вообще и на отношение науки к жизни, которые можно было бы считать верными и

плодотворными. Поэтому нет и речи о том, чтобы можно было полностью и безоговорочно отдать свои симпатии какой-нибудь одной из спорящих сторон. Но, мне кажется, было бы неправильно с полным безразличием, огульно отвернуться от всего, высказанного обоими учеными, как от чего-нибудь совершенно бессодержательного и незначительного. Задача заключается в том, чтобы в оценке обеих изложенных позиций верно разглядеть распределение света и тени.

Несмотря на откровенный, совершенно обнаженный фидеизм Шпицера, составляющий отнюдь не новую черту его лингвистических сочинений, в его позиции есть некоторые особенности, способные с первого взгляда привлечь к нему читателя в большей мере, чем к его антагонисту. Я не думаю, чтобы в мою задачу сейчас входило спорить со Шпицером как с носителем религиозного мировоззрения. Но мы не можем не прислушаться к Шпицеру, когда он обвиняет современных механистов, антименталистов, бихевиористов и т. п. в том, что они вообще не знают никакого «во имя», такого объемлющего этического принципа, который делал бы научную работу действительно творческой и жизненно содержательной. В конце концов Шпицер вооружается против мертвящей безыдейности, которую он наблюдает в научной жизни современного Запада и которая с несомненностью свидетельствует о серьезном кризисе в западном научном мировоззрении. Нельзя жить, а следовательно, и заниматься наукой без идеала. Блумфилд, несомненно, скажет, что пока биология и социология не дадут своего определения тому, что мы называем словом *идеал*, он ничего не может сказать по данному поводу. Тем не менее нельзя было бы отрицать, что уже и в простом указании на безыдейность проповедуемого им антиментализма есть что-то действительно человеческое и живое. Ведь и в самом деле: не человек для субботы, а суббота для человека. И уже совсем другой вопрос составляет личное несчастье Шпицера и ему подобных, вообразивших, будто нет иного пути для ищущего живых идеалов, кроме веры в бога, не видящих, что есть идеалы подлинно человеческие, общественные.

С другой стороны, Шпицер может показаться более привлекательным и для тех, кто законно стремится к расширению границ лингвистического знания, к включению в эти границы вопросов стиля, художественного языка, вопросов не только в широком смысле слова грамматических, но также и таких, которые касаются различных явлений практического языкового употребления. Разумеется, грамматика остается грамматикой, и без нее нельзя сделать и шагу в изучении языка и его истории. Но язык — это не только грамматика, не только структура: ведь реально он дан нам только в живых актах чувственно воспринимаемой речи. Рядом с «анатомией» языка существует его «физиология». Потому-то и нельзя изучать язык вне общества, вне различных форм общественного и индивидуального сознания, вне человеческих чувств. И вот, в то время как Шпицер в течение всей своей деятельности настойчиво пропагандирует стилистику, антименталисты, действительно, не занимаются вопросами этого рода сколько-нибудь пристально. Однако спрашивается, что конкретно понимает Шпицер под «стилистикой», как практически преломляются широкие взгляды Шпицера на границы лингвистики в его исследовательской работе? Сколько-нибудь близкое соприкосновение с этой стороной дела сразу же обнаруживает глубокую порочность всей его концепции.

Обратим внимание на то место рассуждений Шпицера, в котором он упрекает антименталистов в их преимущественном влечении к механическим сторонам жизни языка, и именно — к фонетике и морфологии. Значит, и для Шпицера есть в языке нечто механическое? Шпицер не последний из числа жалующихся на «засилье» фонетики и морфологии

в лингвистике, причем он явно исходит из дилетантских представлений, будто в языке для науки есть более и менее «важные» стороны, будто, например, лексика «важнее» фонетики, синтаксис «важнее» морфологии и т. д. Нечто в этом роде Шпицер заявляет и прямо, говоря, например, что антименталистам из числа младограмматиков Бругман ближе, нежели Дельбрюк, так как последний все же занимался синтаксисом, т. е. чем-то, как никак, «ментальным». Это мнение об относительной важности тех или иных сторон языка для науки есть чистый предрассудок. Человек не может жить без мозга, но может жить с вырезанным желудком. Значит ли это, что хирург, оперирующий желудки, занимается менее важным делом, чем хирург, оперирующий мозг? Нет языка без звуков речи, но звуки речи в языке, действительно, непременно что-то означают, т. е. различают слова и морфемы. Фонетика, которая игнорирует эту функцию звуков речи, т. е. фонетика «механическая», есть поэтому абсурд. Но Шпицер, очевидно, думает иначе, судя по его выпаду против «фонологической моды». Ему, по-видимому, очень бы хотелось, чтобы язык состоял из чего-либо совершенно эфемерного, воздушного, спиритуалистического, представлял бы собой своеобразное средство телепатии. Но в действительности дело обстоит иначе. Мы хорошо помним слова Маркса об отягощении сознания материей как о его своеобразном «проклятии».

Впрочем и в самом деле есть основания жаловаться на «засилие» фонетики и морфологии. Это ведь все-таки наиболее полно обработанные области лингвистики. Причиной этому — естественный способ восприятия речи, начинающегося с чувственных примет, а потому и естественный ход развития лингвистической науки, заставивший изучать язык именно в таком порядке. Однако этому «засилию» способствует еще и то, что «ментальные» области языка, к сожалению, большей частью изучаются до сих пор так, что у серьезно ищущих лингвистов не может воспитаться устойчивая склонность к их исследованию. То, что здесь сказано, лучше всего можно показать на примере самого Шпицера. Вот как Шпицер сам характеризует свой «стилистический» метод в одном из параграфов статьи, приводимой Блумфилдом: «Когда я замечаю, — говорит он, — то, что я называю „стилистическим фактом“ в языке писателя, я пытаюсь найти возможный его психологический корень, а потом проверить, годится ли предположенный психологический корень также для объяснения прочих стилистических явлений, которые могут быть наблюдаемы в индивидуальном языке автора».

Трудно подыскать более убедительное доказательство того, что Шпицер занимается вовсе не языком, а психологией поэта, материалы для которой он ищет в языке. В других случаях Шпицер и прямо заявлял, что он изучает «душу писателя» по ее отражениям в языке. Что это не лингвистика, а психология, ясно уже из того, что подлинная лингвистика не «объясняет», а анализирует язык просто потому, что она и не в силах сама что-нибудь действительно объяснить в языке. Под объяснением языка я понимаю сведение фактов языка к таким действующим причинам, которые создают язык и его историю, — ясно, что эти причины лежат не в самом языке, а вне его и что, следовательно, с воими средствами лингвистика не в силах это сделать. Лингвист, следовательно, и не должен стремиться к таким «объяснениям» на своей собственной, лингвистической почве. Его обязанность заключается не в том, чтобы изучать содержание (в данном случае — «психологию поэта»), нашедшее себе выражение в известном языковом акте, а в том, чтобы исследовать, каким образом, какими средствами и особенностями своей организации язык выразил то, что в нем выражено. Я готов идти дальше и утверждать, что изучение самого по себе языка вообще не может открыть нам,

что именно в нем выражено. Это нам открывается только историей, социальным опытом, обычаями и т. п. той среды, язык которой изучается. Поэтому лингвисту все это должно быть дано заранее, в качестве результатов опыта, долженствующего быть названным *ф и л о л о г и ч е с к и м* в точном смысле слова. Сколько бы вы ни смотрели в книгу или вслушивались бы в живую речь, ничто вам не откроет, что значит звуко сочетание *дуб*, пока вам не станет откуда-нибудь известно, из каких-нибудь сообщений, например, из филологической интерпретации текста и т. п., что этим звуко сочетанием в данной среде принято обозначать известного вида дерево. Но раз вы уже знаете, что именно обозначается данным звуко сочетанием, вы далее можете изучить тот способ, которым в данном языке выражено это содержание, в отличие от других содержаний.

Потому-то и позволительно утверждать, что Шпицер занимается не языком писателя, а его психологией, что он спрашивает себя не о том, каким образом язык писателя передает его мысли, а что он говорит писателем своим языком. Ясно, что на этот вопрос, поскольку он не разъясняется до конца общепринятым языковым узусом, т. е. усвоенными нами от общества, из практического опыта, связями, существующими в данной среде между фактами языка и предметами мысли, могут отвечать только те науки, объектом которых непосредственно служит самый этот опыт, т. е. история литературы, история вообще, психология и т. д. Лингвистика же сама по себе здесь бессильна.

Но это не только психология, но еще и плохая психология. Если уж изучать психологию, то надо ее изучать по всем доступным данным, а не только по языку. В противном случае неизбежно заходишь в тупик формализма и своеобразной лингвистической метафизики, для которой вся вообще действительность есть какой-то род «языка». Конечно, и язык дает для этого данные, но ведь вовсе не только язык, причем язык здесь, может быть, наименее прямой и достоверный свидетель из-за своей *к о н в е н ц и о н а л ь н о й* природы. В итоге я прихожу к выводу, что, будучи типичным идеалистом в философском смысле, притом — субъективным идеалистом и психологистом, Шпицер, испугавшись механического подхода к языку, просто и целиком выбрасывает самый язык как объект изучаемого из лингвистики. И это потому, что ему не хватает того, что должно быть душой всякой науки, т. е. *д и а л е к т и к и*, понимания диалектической связи языка с мыслью, понимания того, что язык *п е р е д а е т* мысль, *в о п л о щ а е т* ее, но *с а м в с е б е* еще не содержит указания на то, что именно он передает.

Однако было бы совершенно неправильно заключать из сказанного, будто, с моей точки зрения, антименталисты оказываются правыми в своих возражениях Шпицеру. Я совсем далек от таких выводов. Явное преимущество Блумфилда по сравнению со Шпицером только в одном — в том, что он более близко держится почвы самого языка. Это, однако, происходит у него не от большой добродетели. Антименталисты тоже хотели бы *о б ь я с н я т ь* язык, но только существующие способы объяснений их не удовлетворяют. Те принципы объяснения, которые им мерещатся, безусловно, заслуживают самого резкого осуждения с нашей стороны, во-первых, потому, что это попытки объяснять язык из самого языка, объяснения имманентные, а во-вторых, потому, что они покоятся на принципах механистической философии, игнорирующей специфичность социального предмета. *О т р и ц а т е л ь н а я* сторона суждений Шпицера об этих принципах, хотя он и не представляет себе ясно их корней, сохраняет свою силу. Все это вопросы не лингвистические, а общеметодологические. Над ними и лингвист, понятно, не может не задумываться. Однако дело

повертывается так, что, не умея «объяснять», антименталисты фактически и не «объясняют» языковые явления и э т о заставляет их в своей практической работе ближе держаться почвы самих по себе фактов языка. К а к они работают над практическим материалом своей науки — это уже совсем особый вопрос. Можно догадываться, что их работа не всегда будет казаться нам удовлетворительной, но здесь уже наш спор с ними должен быть и будет спором непосредственно лингвистическим. Пусть антименталисты явно плохие философы, но все же им трудно было бы отказать в квалификации дельных лингвистов. Между тем Шпицер, философ не лучше своих противников, со строго принципиальной точки зрения в своих стилистических штудиях (которые он сам считает для себя основными) вообще не есть лингвист.

1947 г.